

А. И. ЧАГИН*

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ (ОПЫТ РАЗДЕЛЕННЫХ ЛИТЕРАТУР В XX В.)

В статье рассказывается о том, как в не таком уж далеком прошлом русская литература, рассеченная надвое после революции 1917 года, испытывавшая тяжесть диктата и горечь изгнания, нашла в себе силы не только выжить, но и прийти к новым драгоценным обретениям. И одним из важнейших залогов дальнейшей жизни разделенной русской литературы на обоих ее берегах – на Родине и в зарубежье – была верность традициям национальной культуры, забота о сбережении завещанных предками начал русской духовности.

Русское зарубежье; разделение литературы; «Белёвский уезд»; национальная культурная традиция; свобода творчества; модели литературного развития.

В конце 1920-х годов в Париже молодым эмигрантским поэтом были сказаны слова, получившие широкую известность и ставшие предметом горячих споров: «...Близко время, когда всем будет ясно, что столица русской литературы не Москва, а Париж» [1].

Предыстория этого события такова. В 1927 году по инициативе Д. Мережковского и Э. Гиппиус в Париже было создано литературно-философское общество «Зеленая лампа», объединившее вокруг себя интеллигенцию русского зарубежья и собиравшее на свои заседания писателей, ученых, журналистов вплоть до начала войны с Германией. На собраниях «Зеленой лампы» обычно бывали такие писатели, как И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, Н. А. Тэффи и другие, философы – Н. Бердяев, Л. Шестов, К. Мочульский, Г. Федотов, редакторы и сотрудники крупнейших газет и журналов русского Парижа. Там обсуждались важнейшие вопросы литературы, искусства, ду-

* Москва, ИМЛИ РАН

ховной жизни русского зарубежья. Одним из вопросов, оказавшихся в центре внимания собравшихся на первых заседаниях «Зеленой лампы», был вопрос о том, возможно ли существование литературы в эмиграции. Эта тема дискуссии возникла не случайно: она была отражением тех споров, которые в течение уже нескольких лет шли в эмигрантской печати, и в ходе которых не раз высказывалась мысль о невозможности существования литературы за рубежом, вдали от родины.

Разные позиции были и у тех, кто участвовал в первых заседаниях «Зеленой лампы». Однако здесь весь тон дискуссии определяла уверенность большинства выступавших в возможности художественного творчества за рубежом. Возражая своим оппонентам, Бунин говорил: «Переселение, отрыв от России – для художественного творчества смерть, катастрофа, землетрясение... Выход из своего пруда в реку, в море – это совсем не так плохо и никогда плохо не было для художественного творчества... Но, говорят, раз из Белёвского уезда уехал, не пишет – пропал человек»[2]. Нина Берберова, отстаивая позиции молодого поколения писателей зарубежья, говорила о необходимости для русского художника не столько описывать русский быт, сколько писать «в духе русской литературы». При этом она напонила собравшимся о «Маленьких трагедиях» Пушкина, глубоко русских по существу, но сюжетно весьма далеких от России [3]. Ее взгляд на проблему практически совпадал – добавлю – с тем, что позднее писал об этом В. Ходасевич, утверждавший, что национальность литературы определяется ее языком и духом, а не территорией и бытом, в ней описанными, — и ссылавшийся при этом на те же «Маленькие трагедии». Более того, обращаясь к таким примерам, как «Божественная комедия», как опыт литературы французской эмиграции, польской классической поэзии, созданной эмигрантами (Мицкевичем, Словацким, Красинским) и т. д., Ходасевич напоминал о том, что история литературы знает не один случай, когда именно в эмиграциях создавались великие произведения, открывшие пути дальнейшего развития национальных литератур [4].

В наиболее крайнем своем выражении позиция эта была доведена до абсурда в приведенных уже словах молодого поэта Довида Кнута, назвавшего Париж столицей русской литературы.

Эта дискуссия в «Зеленой лампе» породила новую волну публикаций в эмигрантской печати. Некоторые авторы (такие как Г. Адамович, М. Цетлин), не оспаривая мнения старых мастеров, писали об обреченности эмигрантской литературы, увидев ее прежде всего в том, что у следующих поколений писателей зарубежья нет своего «Белёвского уез-

да». Вспоминая слова Бунина, М. Цетлин, например, замечал: «...разумеется, писатели старшего поколения не зачали, выехав за границу. Но они принесли на подошвах комочек земли из своих уездов, унесли с собою родину. Ну а как же те, которые никогда ни в каком Белёвском уезде не были,— заменят ли им Париж и Алжир, Китай и Константинополь – бесценные, художественно пережитые, живущие в душе, в художественной памяти Белёвские уезды» [5]?

Наиболее резко (и тоже, как и Кнут, не без крайностей), высказался об этом критик, литературный редактор журнала «Воля России» М. Слоним: «...эмигрантской литературы как целого, живущего собственной жизнью, органически растущего и развивающегося, творящего свой стиль, создающего свои школы и направления, отличающегося формальным и идейным своеобразием – такой литературы у нас нет. Хорошо это или дурно, но это неопровержимый факт, и что бы ни говорили Кнуты, Париж остается не столицей, а уездом русской литературы» [6].

Итак, диапазон спора был очерчен предельно четко: от «Белёвского уезда» до «Парижского уезда». Кто же был прав в этом споре?



Сегодня, с внушительной временной дистанции, когда известен уже путь, пройденный литературой русского зарубежья, ответить на этот вопрос легче, чем в двадцатые годы – понимая при этом, что однозначного ответа все же не будет. Конечно, литература, давшая нам произведения Бунина, Ремизова, Шмелева, Ходасевича, Набокова, Газданова, Поплавского, других прекрасных писателей,— эта литература состоялась. Но задумаемся вот над чем: почему наивысшим взлетом, Золотым веком литературы зарубежья остались 1920–1930-е годы?

Прежде всего, видимо, потому, что там, в тех десятилетиях, у писателей первой «волны» эмиграции был за душой тот самый «Белёвский уезд», о котором с такой иронией говорил Бунин, и который, те не менее, всегда жил в его произведениях – созданных и в России, и во Франции. Конечно, можно только представить себе, как дорого было эмигрантскому читателю встретиться на страницах «Жизни Арсеньева» с картинами старинной усадьбы, провинциального русского города, гимназии – словом, всего, что осталось далеко позади; или оказаться в старом Замоскворечье, раскрыв «Лето Господне» И. Шмелева; или вместе с героями «Сивцева Вражка» М. Осоргина побывать в предреволюци-

онной Москве. Но образ России, который унесли эти писатели с собою в изгнание, конечно же, не вмещался лишь в бережно сохраненные в памяти, «художественно пережитые», как писал М. Цетлин, и ожившие в их новых произведениях картины русского быта – иначе ему была бы суждена короткая жизнь. Это был, прежде всего, духовный образ, выраставший из навсегда усвоенных, традиционных, определяющих весь строй национальной жизни представлений о добре и зле, о вере, любви и милосердии. Таковы были действительные границы и действительный смысл «Белёвского уезда», который жил в этих произведениях. Кстати, «быта» могло и не быть – достаточно вспомнить многие стихотворения М. Цветаевой, Г. Иванова, В. Ходасевича, произведения младшего поколения первой «волны» (об этом речь еще впереди) – а «Белёвский уезд» жил и там.

Именно он, этот «Белёвский уезд», эти, вспоминая слова М. Цетлина, «комочки на подошвах» – иными словами, верность традиционным началам национальной культуры дали литературе русского зарубежья силы не только выжить, но и объединиться в осознании своей исторической миссии, в понимании стоящей перед ней задачи сохранения, сбережения национальной культурной традиции. «Мы не в изгнании, мы в послании» – знаменитые слова Д. Мережковского говорили и об этом [7]. Да, обращение литературы зарубежья к идее преемственности, осознание себя в роли хранительницы традиций русской духовности было во многом связано с неприятием того, что происходило тогда в России. Вспоминая о настроениях эмиграции 20-х годов, Г. Адамович особо отмечал «общее стремление противопоставить традиционно-русское представление о добре и зле, о правде и лжи тем принципам, которые насаждаются в СССР». И не случайно он связывал это с другой общей устремленностью писателей зарубежья – «сохранить по мере сил связь с великой русской литературой прошлого века» [8]. О том же писал и Ходасевич, видевший важнейшую цель эмиграции, во многом оправдание ее – в том, чтобы «сохранить и передать будущим поколениям» русскую литературную традицию. И как, кстати, современно звучат слова, сказанные им в связи с этим: «Без возвышенного сознания известной своей миссии, своего посланничества – нет эмиграции, есть толпа беженцев, ищущих родины там, где лучше» [9]. Сознание взятой на себя миссии «хранителей огня» русской культуры, русской литературной традиции объединило тогда писателей зарубежья, создало тот «пафос общности», к которому призывал (не разглядев его в эмигрантском творчестве в 1920–1930-е годы) Г. Адамович [10] и ко-

торый необходим для того, чтобы из ряда произведений, созданных рядом писателей, родилась *литература*.

Обращение – в 1920-е годы – к идее сбережения и развития национальной литературной традиции было для эмигрантских писателей выбором неизбежным. Напомню еще раз, что одной из причин этого было противостояние утверждавшимся тогда в советской России порядкам – прежде всего, возникавшей в те годы на родине новой ситуации в литературе, культуре. В частности, это было реакцией на ясно обозначившуюся в России в начале 1920-х годов тенденцию разрыва с классической традицией. Чтобы в полной мере представить себе силу и естественность этой реакции, стоит вспомнить о том, чем была для писателей эмиграции (особенно старшего поколения) русская классика. Вдали от родины, в окружении живой стихии чужой национальной культуры внутренняя, бережно хранимая связь с Золотым веком русской литературы была для них духовной опорой, воплощением образа покинутой родной земли. Хорошо сказал об этом, размышляя о семейных своих корнях, В. Ходасевич:

России – пасынок, а Польше –
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше, –
И в них вся родина моя.
Вам – под ярмо ль подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске.
А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке.
Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где б ни был – шепчут мне
Арапские святые губы
О небывалой стороне.

Пушкин как символ России – этот образ был так близок Ходасевичу, выстрадан всей его жизнью в литературе; но он был необычайно важен и для других зарубежных русских писателей, воплощая в себе ненарушаемую кровную связь с утраченной родиной. Не удивительно поэтому, что происходивший в России «откат» от классической традиции был воспринят писателями эмиграции как угроза русской культуре, как очередное «затмение пушкинского солнца».

Конечно, противостояние это было более широким и не могло ограничиться лишь проблемой классического наследия. Не уходя слишком далеко от темы нашего разговора, замечу лишь, что дело было, в конечном счете, в духовной несовместимости двух миров, затрагивающей, по словам Г. Адамовича, «самые основы существования и культуры» [11]. Размышляя об этом, Г. Адамович не раз вспоминал парадоксальные на первый взгляд слова Д. Мережковского, который в одном из своих выступлений в «Зеленой лампе» сказал: «Первым русским эмигрантом был Чаадаев». Слова эти, напомню, были сказаны о человеке, который за первое же из своих «Философических писем» царским решением был признан сумасшедшим и лишен возможности печататься (вот случай, когда традиция не была забыта). Заметив, что «высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, ...совпадает с некоторыми теперешними утверждениями», Г. Адамович счел нужным подчеркнуть: «... замечательно все-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло до нее» [12]. Понятно, что речь здесь идет о такой давнишней вещи, как неприятие иного взгляда (особенно между художником и властью), стремление к отрыву, освобождению от чужой и чуждой воли. И если когда-то несовместимость взглядов философа и царя обернулась для первого ссылкой в «сумасшествие», то в XX столетии, после революции 1917 года взаимное неприятие стеной выросло между зарубежьем и новой Россией, между писателями эмиграции и теми, кто выносил теперь на родине «высочайшие диагнозы».

Результатом же стало рассечение национальной культуры, растянувшаяся на всю жизнь разлука со своей землей. И все же для эмигрантских писателей старшего поколения непреложным фактом была их внутренняя неотделимость от России, от ее духовного облика, который жил в них и сам был для них спасительным прибежищем на чужбине. Размышляя об эмиграции как о «второй России», Г. Адамович утверждал (и утверждение это, сказанное другими словами, можно найти у многих писателей зарубежья), что «она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась... На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она – Россия, дух от духа ее, плоть от плоти ее...» [13]

Более того, образ родины, тот самый «Белёвский уезд», живший в душах писателей первой «волны» эмиграции, был не просто дорог им и неотделим от них – он, по их представлению, был искажен и пору-

ган в новой России. И дело не только в отходе от классической традиции. Не случайно на тех первых заседаниях «Зеленой лампы», где шли споры о возможности существования эмигрантской литературы, в докладе Зинаиды Гиппиус прозвучало напоминание о необходимости учиться свободе слова. «Ведь когда мы просто литературу советскую критикуем, мы делаем не умное, а главное, не милосердное дело. Это все равно, как идти в концерт судить о пианисте: он играет, а сзади у него человек с наганом и громко делает указания: «Левым пальцем теперь! А теперь вот в это место ткни!» Хороши бы мы были, если б после этого стали обсуждать, талантлив музыкант или бездарен!» И вот что сказала она о литературе зарубежья: «Но здесь наша «музыка» – слово эмиграции – имеет иную значимость. За ним не только не стоит указующий с наганом, но даже не прячется вежливый «пресекающий» в кулисах, как было недавно. Русским людям впервые дано *свободное слово*» [14].

Были ли вполне справедливы эти суждения и эти опасения за судьбы национальной культуры, за чистоту духовного облика родины на родине? И да, и нет. Конечно, какая уж тут «духовность» – под дулом нагана. И, надо сказать, не такой уж фантазией была эта жестокая аналогия – ведь говорилось это среди людей, которые еще недавно сами испытали на себе складывающиеся в России новые отношения между художником и властью, а с тех пор отношения эти только усугублялись. Да и в отношении эмиграции все вроде бы верно сказала З. Гиппиус – цензоров там не было.

Здесь, впрочем, необходимо сделать оговорку – не все было так благобно со «свободным словом» в зарубежье, как об этом говорила З. Гиппиус. Можно было бы сделать специальный доклад или статью о том, как и политическая, и эстетическая цензура – без всякого Главлита, как в СССР – осуществлялась в зарубежье руководителями эмигрантских журналов, газет, издательств. Примером тому – судьба первой публикации (в «Современных записках») романа В. Набокова «Дар», судьба романа И. Шмелева «Солдаты», творческого наследия Бориса Поплавского. Эти примеры можно продолжать.

Главное заблуждение заключалось, однако, в том, что уравнивались две вещи несравнимые: свобода слова – вещь «внешняя», т. е. то, чего можно добиться или декретом, или географическим перемещением прочь от диктатора – и свобода творчества, т. е. свобода духа, связанная, конечно, со свободой слова, зависящая от нее, но ни в коем случае ее пределами не ограниченная, а рожденная, прежде всего, масштабом

личности, масштабом таланта. Заблуждение это было, конечно, не случайным – здесь была выражена совершенно определенная принципиальная позиция. Во вступительном слове, произнесенном на открытии «Зеленой лампы», Д. Мережковский сказал: «Наша трагедия – в антиномии свободы – нашего «духа» – и России – нашей «плоти». Свобода – это чужбина, «эмиграция», пустота, призрачность, бескровность, бесплотность. А Россия, наша плоть и кровь,— отрицание свободы, рабство. Все русские люди жертвуют или Россией – свободе или свободой – России» [15].

С уважением воспринимая эту позицию и стоящую за ней трагедию, напомним все же, что среди «всех русских людей» она не была единственной. Была и другая правда, связанная с другим пониманием свободы – о чем сказала оставшаяся, как известно, на родине Анна Ахматова в стихотворении 1922 года: «Но вечно жалок мне изгнанник. / Как заключенный, как больной». «Как заключенный» – где уж тут до свободы. А дальше шли слова о трагедии иного выбора, иного отстаивания свободы:

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...

За *этой* правдой, за *этим* выбором стояла убежденность в том, что свобода и Россия – неразделимы, что «антиномия» здесь невозможна, ибо Россия – это не только «наша плоть и кровь», но и «наш дух». Трагедия же заключалась в том, что свободу духа приходилось отстаивать в отсутствии свободы слова, да и всех других свобод. И все-таки мы знаем, что писатели старшего поколения, оставшиеся в России,— Короленко, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, другие – свободой духа не поступились. Да, за писателями зарубежья не стоял «указующий с наганом». Но за ними протянулись тысячи километров, отделявшие их от России, от своего читателя, от его исторических судеб, от каждодневной «органики» его жизни. И кто знает, что было опасностью более грозной для внутренней свободы, для живых токов, питающих творчество русского писателя.

Не хотел бы – и не стану – сталкивать лбами, противопоставляя друг другу, два этих выбора, две трагедии. Да это было бы и несправедливо, ведь трагедия, в общем-то, была одна: трагедия поиска свободы духа в условиях национальной катастрофы. Речь идет лишь о том, что верность духовной сути России, важнейшим началам национальной культуры жила по обе стороны границы, утверждалась на обоих путях литературы – и бесплодными были бы споры о том, где художественно воссозданные черты этого «Белёвского уезда» нашей литературы оказались истиннее и значительнее – в «глухом чаду пожара», охватившем Россию, или на горьких пространствах русского рассеяния.

Это понимали и сами писатели, принадлежавшие к тому роковому поколению (беря понятие «поколение» широко) и разделенные, оторванные друг от друга грубым насилием истории. Того вопроса, который еще недавно так часто возникал на страницах печати и в программах научных конференций – «одна или две русских литературы»? – для них: для Бунина, Ахматовой, Ходасевича, Пастернака, Ремизова, Пришвина – не существовало. Свою знаменитую статью «Литература в изгнании» В. Ходасевич начал словами: «Русская литература разделена надвое. Обе ее половины еще живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме, но одинаковым по последствиям» [16]. Обратим внимание – ведь он говорит об одной литературе, рассеченной пополам. О том же пишет и Марина Цветаева в стихотворении, обращенном к Б. Пастернаку:

Рас-стояние: версты, дали.
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав...

И все же то, что в 1920-е годы писатели зарубежья взяли на себя роль «хранителей огня», объединились в стремлении сохранить и передать следующим поколениям русскую литературную традицию, было и оправданно, и чрезвычайно важно. Хотя бы уже потому, что живой огонь традиции они подхватили и уберегли в тот момент, когда он был, казалось, забыт на родине («забвение» это продолжалось до конца 20-х годов). И потому, конечно, что, если бы не эта естественная для них, выношенная каждым из них в своем творчестве, позиция, лишились бы мы драгоценного материка литературы (понятна, впрочем, вся

неуместность этого допущения – не появиться эти произведения, видимо, не могли), которая воспела ушедшую Россию, которая тогда, в 1920-е и 1930-е годы, в мрачную пору «европейской ночи» говорила о любви, о вере, о вечных вопросах человеческой жизни. Благотворную роль сыграл и эстетический консерватизм зарубежных писателей старшего поколения (вот когда начинаешь понимать, какое это хорошее слово – «консерватизм»), их неизменная связь с художественными, нравственными уроками русской классики. Тема эта огромна – напомним лишь об одном великом деле, совершенном писателями-эмигрантами. Откроем «Жизнь Арсеньева» или «Темные аллеи» Бунина, книги Шмелева, Зайцева, Осоргина, других мастеров первой «волны» – какой чистый, многоцветный, благородный русский язык встретим мы на их страницах. Это, конечно, тоже было сознательной, выстраданной позицией – в годы, когда русский язык подвергался на родине бурному и далеко не всегда, как известно, благотворному процессу обновления, когда следующие поколения эмигрантов начинали уже забывать, что такое настоящая русская речь, — в зарубежье одна за другой стали выходить книги, давшие и современникам, и нам, нынешним, образцы выразительного, полновзвучного, ясного, свободного от словесных сорняков и стилистической безвкусицы русского языка. Старшие писатели первой «волны» придавали этому огромное значение: самой чистотой своей литературной речи они противостояли как воцарившемуся «там» языковому «хаосу» и «революционной свистопляске», так и все более заметному «здесь» эмигрантскому волапюку. Среди поэтов эмиграции страстным ревнителем русского языка был Ходасевич, написавший однажды, обращаясь к России:

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Защита русского языка как первоосновы «завещанной веками» национальной культуры была для писателей зарубежья необходимым условием сбережения русской литературной традиции, воссоздания духовного облика утраченной родины. «Вещественных» черт ее образа, родины как темы в их произведениях могло и не быть, сам язык во многом определял их национальный дух. Достаточно перечитать «Мистраль» Бунина – короткий рассказ, где ни слова о России. Но волшеб-

ство языка, невероятная, почти нереальная сила изобразительности, музыкальное звучание ритмической авторской речи, делающей этот рассказ, в сущности, стихотворением в прозе, — все это приводит к тому, что язык сам оказывается одним из героев повествования, ведет за собой читателя, завораживая его безмерными возможностями и красотой русского слова.

Понятно, конечно, что произведения эти создавались вдали от родины, а значит – от живой, движущейся языковой стихии. Язык этих произведений был лишен возможностей естественного развития. Однако любой язык – а тем более язык литературный – жив не только энергией обновления, но и силой самосохранения, сберегающей все выжившее в его потоках, отстоявшееся, ограниченное временем. И языковое мастерство писателей старшего поколения русской эмиграции – не просто память об ушедшей эпохе, но необходимый и сегодня высокий образец силы, красоты и целомудрия слова.

Несколько сложнее обстояло дело с жизнью традиции в произведениях писателей младшего поколения первой «волны», так называемого «незамеченного поколения». Для них, не имевших прежде, в России, художественного опыта (многие из них начали писать уже за границей), большое значение имели поиски своей «эмигрантской» темы. Порою они в этих поисках воспринимали опыт иных культур, соединяя его с русской традицией – так случилось в конце концов с В. Набоковым, Г. Газдановым. И все же в произведениях многих из них ожидал если не «предметный», «вещественный», — то духовный, нравственный облик родины, давали знать о себе усвоенные с детства традиционные представления о вечных основах жизни. Принадлежащая к этому поколению З. Шаховская заметила однажды, что подлинное разделение литературы произошло при них – литераторах, которые во время революции были детьми или подростками. И добавила: «Все разило советских и эмигрантов из молодых...» [17]

Все ли? Приведу поразительный, мне кажется, пример того, как два поэта – советский и эмигрантский – при редком по точности совпадении формы и тематики произведений подтверждают, казалось бы, слова З. Шаховской. Поэты, о которых идет речь, принадлежат к одному поколению, они пришли в литературу в начале 1920-х годов. Это Николай Тихонов (и одно из лучших его стихотворений «Мы разучились нищим подавать...») и Довид Кнут (тот самый молодой поэт, который на заседании «Зеленой лампы» назвал Париж «столицей русской литературы»; и его стихотворение «Нищета»).

Н. Тихонов

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор золото лимонов.

— — — — —

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

*Д. Кнут***Нищета**

Мы постепенно стали отличать
Поддельные слова от настоящих.
Мы разучились плакать и кричать,
Мы полюбили гибнущих и падших.
И стало все пронзительней, трудней,
И стало все суровее и проще,
Слова – бедней, молчание – нежней... <...>

Действительно, совпадение очевидное. Оба стихотворения написаны одним размером; и одно, и другое представляют собой исповедь поколения (не случайно каждое из них начинается со слова «мы»); наконец, и в одном, и в другом речь идет о добре и милосердии. Но по сути, по смыслу своему оба эти стихотворения-исповеди прямо противостоят друг другу. Стихотворение Н. Тихонова исполнено высокой романтической патетики, звучит в киплинговско-гумилевской тональности. Но за этой патетикой сокрыта трагедия поколения, которое забыло о милосердии и добре, забыло о красоте мира. Здесь возникает образ «сломанного ножа» – искалеченной души человеческой, и герой (говорящий от имени поколения) горд сознанием того, что эта жертва принесена на алтарь дела более важного, чем душа человека. У Д. Кнута мы видим нечто противоположное. Страдание (за которым – трагический опыт эмиграции) лечит и растит душу, учит ее зоркости (первые две строки), учит милосердию и доброте (четвертая строка, откровенно противостоящая первой строке тихоновского стихотворения). В стихотворениях этих живет противоположный духовный опыт, очень характерный в каждой из своих ипостасей, говорящий, в конечном счете, о разном понимании значимости души человеческой.

И все же З. Шаховская не вполне права. Вглядимся в первую строфу стихотворения Н. Тихонова – речь здесь идет об ослепшей душе *как об утрате*. С той же горечью в следующей, опущенной здесь, строфе говорится о жизненных, исторических утратах этого поколения. Значит, поэт воспринимает эти утраты, исходя из тех же (или близких им) нравственных представлений, что и его сверстник-эмигрант. Да, в последней строфе он готов «торжественно пренебречь» этими представлениями, неизмеримо возвышая цель над приносимой ей жертвой. Но это говорит только о том, что разные, противоположные пути, избранные героями обоих стихотворений (воплощающими в себе образ поколения), шли из одного нравственного истока. Перед нами – трагедия одного поколения, росшего на одних и тех же этических ориентирах, но волею истории расколото не только «географически», но и нравственно, пришедшего к зрелости с разным, часто горьким духовным опытом.

Стихотворение Д. Кнута интересно и тем, что в нем дает знать о себе присущее многим поэтам младшего поколения первой «волны» эмиграции стремление воссоздавать в своем творчестве не столько зримый образ утраченной родины, сколько духовные, нравственные ее черты. Не случайны, значит, были его слова, сказанные на том заседании «Зеленой лампы»: «...кроме запаса березок и кукушек, который, действительно, в известной мере истощается, русские писатели вывезли из России еще кое-что, что не только не растрачивается, но – наоборот, — крепнет: обогащается, ширится, растет. Русские писатели заблаговременно и предусмотрительно вывезли из России душу» [18].

Не случайно и то, что и в тех случаях, когда в стихотворениях поэтов «незамеченного поколения» возникают конкретные, «предметные» черты покинутой родины, конкретность эта часто оказывается иллюзорной – слишком явно открывается за ней духовная глубина, придающая картинам былой жизни символический облик потерянного рая, как это случилось в «Стансах» Владимира Смоленского:

Закрой глаза, в виденье сонном
Восстанет твой погибший дом –
Четыре белые колонны
Над розами и над прудом.
И ласточек крыла косые
В небесный ударяют щит,
А за балконом вся Россия,
Как ямб торжественный, звучит.

У поэтов же старшего поколения мысли об утраченной родине часто оказывались полны не просто такой светлой печали, как в процитированном стихотворении В. Смоленского, но неизбывной боли, которая на протяжении жизни давала знать о себе по-разному. Показательно, какую эволюцию в этом отношении претерпела поэзия Георгия Иванова. В 1930 г., уже в эмиграции, он пишет стихотворение «Хорошо, что нет Царя...», вошедшее в сборник «Розы» и сразу ставшее необычайно популярным среди читателей-эмигрантов. Первые же строки этого стихотворения: «Хорошо, что нет Царя, / Хорошо, что нет России, / Хорошо, что Бога нет» – говорили о той свободе отчаяния, когда человека, потерявшего родину, утратившего все вековые основания жизни, уже ничем не утратить. (В сущности, три ивановских «хорошо» – это перевернутая, вывернутая наизнанку, данная с противоположным знаком известная триада «православие, самодержавие, народность», на которой держалась вся та прежняя жизнь, обрушившаяся в 1917 году). Эта сила отчаяния, это зияние вместо родины тоже было необходимой чертой в создаваемом *здесь и там* противоречивом и неразделимом образе России. В 1950-е же годы, когда рождались стихотворения «Посмертного дневника», отчаяние, всегда бывшее главной темой эмигрантского творчества Г. Иванова, поднявшей его поэзию на новую высоту, само принимает уже черты утраченной и словно бы вновь обретенной родины. Душа и дом – две ипостаси этого образа родины – сливаются здесь воедино:

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть от чего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.

– В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней
По снегу русскому, домой.

И если в 1930-е годы оно, это отчаяние, обращивалось полным отрицанием всего, что было связано с памятью о родине («Россия счастье, Россия свет. / А, может быть, России вовсе нет. / И над Невой закат не догорал, / И Пушкин на снегу не умирал...»), то два десятилетия спустя, в стихах «Посмертного дневника» образ России становится

для поэта большей реальностью, чем действительный мир изгнанника («Там остался я жить. Настоящий. Я – весь. / Эмигрантская быль мне всего только снится»), и обретает символическую, более того – мистическую силу, будучи неотделимым от мыслей о воскресении («Воскреснуть. Вернуться в Россию – стихами») и вечности:

...Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты.



Много можно было бы приводить примеров, подтверждающих слова Д. Кнута о «вывезенной из России душе» (другой эмигрантский писатель сказал о том же иначе: «Я унес Россию») [19], для этого надо было бы, в сущности, проследить весь путь, пройденный литературой зарубежья. Я же хотел лишь напомнить о некоторых простых и поучительных для нашего времени вещах.

О том, что в не таком уж далеком прошлом русская литература, расчлененная надвое, испытавшая тяжесть диктата и горечь изгнания, нашла в себе силы не только выжить, но и прийти к новым драгоценным обретениям. И одним из важнейших залогов дальнейшей жизни нашей литературы была ее верность традициям национальной культуры, забота о сбережении завещанных предками начал русской духовности. Именно на этих чистых ключах рождались многие произведения писателей первой «волны» русской эмиграции (о второй и третьей – разговор особый). Немало было и еще будет споров вокруг литературы зарубежья. Но споры ушли и уйдут, а «Чистый понедельник» и «Детство Никиты», «Богомолье» и «Взвихренная Русь» – остаются с нами. И соединяются, становятся сегодня в нашем сознании в один ряд с лучшими произведениями, созданными здесь, в России, — где верность национальным истокам не была (вопреки понятным опасениям многих в зарубежье) забыта, где «Белёвский уезд» русской литературы не был сожжен и разграблен, но жил и преображался, разделяя великую и трагическую судьбу народа.

О том, что на каждом из двух путей русской литературы были и свой подвиг, и своя Голгофа. Литература в России и имела «указующего с наганом», и была в самом начале обездолена массовой эмиграцией писа-

телей (достаточно вспомнить, что уехал практически весь цвет русской прозы, за рубежами России оказались многие замечательные поэты). Но и литература эмиграции потеряла немало: она потеряла своего читателя, она потеряла возможность быть внутренне связанной с жизнью нации, с родным языком. Да, Ходасевич прав – можно оставаться глубоко национальным писателем, пользуясь сюжетами из любого, далекого от России, быта. Но, думаю, и Ходасевич не считал нормальным для литературы быть раз и навсегда обреченной на такие сюжеты. Да, «Божественная комедия» написана изгнанником. Но этот изгнанник был гением, а у гения свой предел духовной свободы. Любая же литература жива не только гениями, в ней есть, как говорил Чехов, и большие собаки, и маленькие собаки, — и кто знает, сколько талантов было задавлено на одном из путей русской литературы – под идеологическим прессом, на другом – в отрыве от живой национальной почвы.

И все же на обоих своих исторических путях русская литература выжила и дала прекрасные всходы. Во многом дальнейшая судьба литературы определялась судьбой жившего в ней «Белёвского уезда». Ведь не случайно временные пределы Золотого века литературы зарубежья совпали с жизненными сроками двух поколений писателей первой «волны» эмиграции, имевших за душой или уже художественно осмысленный образ родины, или духовные ее уроки, воспринятый с детства опыт традиционных представлений о жизни. Их дети и внуки, родившиеся и выросшие в стихии иной национальной культуры, не были уже в состоянии унаследовать от отцов и дедов роль «хранителей огня». В России же этот огонь традиции не угасал, он переходил от старших мастеров к следующим поколениям – вспомним, что за какие-нибудь двадцать-тридцать лет послеоктябрьского развития русская литература именно на пути развития национальной культурной традиции дала трех таких гигантов, как Шолохов, Булгаков и Платонов, таких поэтов, как Твардовский, Заболоцкий, Исаковский; этот ряд можно было бы продолжать. И «подземные» токи, соединяющие два пути русской литературы, не прерывались в самые тяжкие времена: о влиянии на них бунинского слова говорили и Шолохов, и Твардовский; художественный, нравственный опыт литературы зарубежья дал знать о себе в произведениях «деревенской» прозы... Поэтому бессмысленно было бы спорить о том, какой из путей литературы был плодотворнее и где была столица русской литературы – в Москве или в Париже. Со столицами в нашей литературе вообще все не так просто. Были и Москва, и Петербург, создавшие свои школы; был Париж в 1920–1930-е годы. Но были в минувшем

столетии и Ясная Поляна, и Мелихово, и Шахматово, и Вешенская. Поистине – где царь, там и столица. Да и не стоило бы забывать о том, что русская литература всегда была сильна провинцией, где традиционные начала национальной культуры прочнее связаны с каждодневным течением жизни. Орловская земля дала Бунина, воронежская – Платонова, а сколько во второй половине минувшего столетия дал нам русский Север. Словом, будем помнить не только о столицах, но и об уездах.

Напомнить стоит и о том, что чувство «Белёвского уезда», живую связь с национальной культурной традицией можно потерять и здесь, в России, никуда не уезжая (что не раз и бывало). О том, что сегодня, когда наша культура подвергается серьезному испытанию на прочность, стоит вспомнить о временах, когда русская литература стояла перед более, наверно, тяжелыми испытаниями – и сумела выстоять, сохранить и приумножить духовные богатства, завещанные предками.



Размышляя о том, как сохранялась, насколько значима была связь с национальной культурной традицией в литературе зарубежья, надо сказать и о другом. Речь в этой статье шла о русской литературе, искусственно разделенной, рассеченной после 1917 года на два потока развития: в России и в изгнании. Но в изгнании, помимо русской, оказались и другие литературы, несущие в себе духовный опыт народов, входивших в состав Российской империи – и судьба у них была разная, далеко не у всех отправной «станцией» стал 1917 год; были, развиваются по сей день и литературные диаспоры, существовавшие еще с XIX века. Постигая, сопоставляя этот многонациональный опыт, стоит задуматься над вопросом, который мы прежде себе не задавали: почему русская литература (как и украинская, белорусская, и, например, армянская, и многие другие) развивается в зарубежье от одной «волны» эмиграции к другой, а некоторые другие литературы – такие, скажем, как адыгская (черкесская диаспора), абхазская, развиваются, как и на родине, от поколения к поколению?

Действительно, обращаясь к опыту русской зарубежной литературы, мы видим, что литература первой «волны» (послеоктябрьская эмиграция), ставшая весьма значительным вторым руслом развития единой русской литературы, давшая целый ряд блистательных имен и произведений, имеет свои временные пределы – это, прежде всего, литература 1920–1930-х годов, существование которой как *литературы* завершает-

ся, в основном, с началом Второй мировой войны. Дальнейшие ее пути в 1940–1960-е годы определялись, как уже говорилось, лишь жизненными сроками писателей, – таких, как И. Бунин, Б. Зайцев, Г. Газданов, Г. Иванов и др. – составивших в межвоенные десятилетия славу этой литературы и переживших ее. Осознав в начале эмигрантского пути свою миссию «хранителей огня» национальной культурной, литературной традиции, они не смогли (и не их в том вина!) передать этот огонь своим детям и внукам. Эстафета литературного развития не была подхвачена следующими поколениями, ассимилировавшимися в стихии иных национальных культур. Жизненной основой дальнейшего пути литературы русского зарубежья стала вторая, послевоенная, «волна» эмиграции (это, конечно, была уже другая литература, с иными красками, языком, представлениями о жизни и мире), затем третья, и т. д.

Иная картина предстанет перед нами, если мы, например, перелистаем страницы литературной истории черкесской диаспоры, самой многочисленной из северокавказских диаспор. Мы не сможем не обратить внимания на весьма важный факт: при всем драматизме и всей давности исторических путей, пролагаемых адыгами (черкесами) в изгнании уже около полутора столетий, при всем многообразии социокультурных условий, в которых создавалась литература черкесской диаспоры, при том даже, что многие мастера этой литературы писали и пишут не на родном языке – литература эта, сохраняя черты национального своеобразия, развивается не в зависимости от «волн» эмиграции, а, как и на исторической родине, от поколения к поколению.

Почему это происходит? Помимо возможных вполне конкретных объяснений («возраст» той или иной диаспоры, география распространения ее в мире, исторические обстоятельства культурного, литературного развития и т. п.), главный ответ мы найдем, когда предметом наших раздумий станут те соединительные линии, которые связывают народ, каждого единичного его представителя с основами его национального самосознания и духовной самобытности – причем связывают не в зависимости от уровня образования, рода деятельности и т. д., а постоянно, каждодневно, часто неосознанно, определяя строй мыслей и характер поведения в любой из моментов жизни. У русских есть одна стихия, прежде всего другого соединяющая именно таким образом человека с миром его предков, аккумулирующая в себе национальное своеобразие народа и его многовековой духовный опыт. Это русский язык, вобравший в себя все: и память, и историю, и нравственный кодекс поведения; ставший слепком духовного лица нации. Об особой роли язы-

ка в судьбе нации размышлял выдающийся русский философ Г. Федотов: «Язык не есть простое орудие, средство обмена мыслей. Язык – тончайшая плоть мысли, не отделимая от ее природы. И не мысли только, а целостного духа. Поэтому язык есть имя нации, как особого духовно-кровного единства, создающего свою культуру, т. е. царство идеальных ценностей» [20]. О том же писали и поэты-изгнанники, утверждавшие свою кровную, непрерываемую связь с родной землей. В 1927 г. появляется стихотворение Вяч. Иванова «Язык», своего рода поэтическое завещание одного из вождей русского символизма, утверждающее мысль о мистической силе родного языка, «творенья духоносного предтечи», соединяющего поэта, подобно Древу жизни, с родной землей во все ее времена – и с «отгулом сфер, звучащих издалеча»:

Родная речь певцу земля родная:
В ней предков неразменный клад лежит,
И нашептом дубравным ворожит
Внушенных небом песен мать земная.

«Имя нации», «земля родная» – так определяли философ и поэт роль и значимость родного языка – имея, конечно, в виду историческую судьбу своего народа. Но, вспоминая историю черкесской диаспоры, ее литературы, нельзя не принять во внимание того факта, что «имя нации» здесь не отождествлялось лишь с национальным языком; оно включало в себя, помимо языка, и другие фундаментальные понятия – такие, как **адыгагъэ**, **адыгэ хабзэ**, определяющие свод представлений о мире и жизни и рожденный этими представлениями кодекс поведения человека (этикет). Подобный трехмерный «фундамент», составляющий духовное «имя нации», определяющий основы менталитета народа, стал, как известно, достоянием не только адыгов (черкесов) – вспомним, что и у абхазов есть, помимо национального языка, такие понятия, как **апсуара** и **акиабз**. Возвращаясь же к литературной истории черкесской диаспоры, заметим, что именно эта трехмерность духовного «имени нации», существование, наряду с языком, и других соединительных нитей, неизменно связывающих человека с «неразменным кладом» предков, позволили литературе этого народа в условиях изгнания развиваться на разных языках, не теряя своей национальной самобытности, – и передавать огонь национальной литературной, культурной традиции от поколения к поколению (вне зависимости от «волн» эмиграции), как и на оставленной родине.

Есть, значит, основания, обращаясь к проблемам литературного зарубежья, говорить о том, что здесь существовали и существуют не только и не просто разные национальные литературы, в силу тех или иных исторических обстоятельств оказавшиеся (как и русская литература) частично выброшенными за пределы отечества, но и разные национальные модели литературного развития в изгнании, формирующиеся в зависимости, прежде всего, от «механизмов» взаимодействия человека с самыми основами своей национальной культуры. Силой же, и объединяющей эти модели развития, и определяющей своеобразие каждой из них, стала способность писателей и на дорогах изгнания сохранять живую связь с литературной, культурной традицией своего народа, верность духовному «имени нации», словом – нести дальше и дальше на своих подошвах комочки родной земли.

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж – Нью-Йорк, 1987. С. 71.
- [2] Там же. С. 65.
- [3] Там же. С. 71.
- [4] Ходасевич В. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 467.
- [5] Цетлин М. Эмигрантское // Современные записки, 1927. № XXXII. С. 435–441.
- [6] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 70.
- [7] Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980. С. 28–29; Гуль Р. Я унес Россию. Нью-Йорк, 1984. Т. 1. С. 127.
- [8] Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. С. 18.
- [9] Ходасевич В. Колеблемый источник. С. 468.
- [10] Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 203.
- [11] Адамович Г. Вклад русской эмиграции... С. 6.
- [12] Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 72–73.
- [13] Там же. С. 72.
- [14] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа... С. 51.
- [15] Там же. С. 47–48.
- [16] Ходасевич В. Колеблемый треножник. С. 466.
- [17] Одна или две русских литературы? Lausanne, 1981. С. 53–55.
- [18] Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа... С. 71.
- [19] Гуль Р. Я унес Россию (тт. I–II). Нью-Йорк, 1984.
- [20] Федотов Г. П. Национальное и вселенское // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 448.